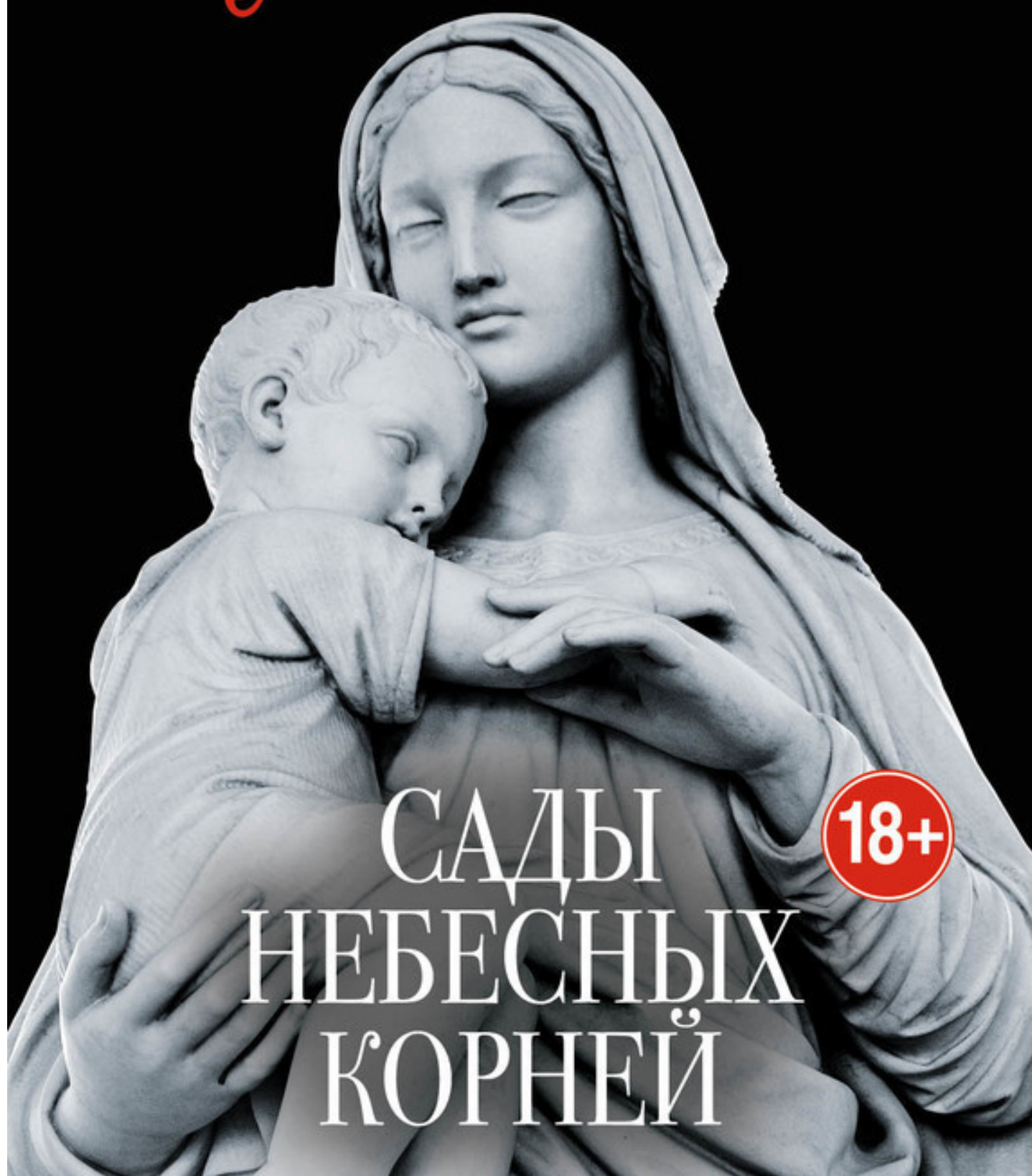


ИРИНА .. МУРАВЬЁВА



САДЫ
НЕБЕСНЫХ
КОРНЕЙ

18+

Любовь к жизни. Проза И.Муравьевой

Ирина Муравьева
Сады небесных корней

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Муравьева И. Л.

Сады небесных корней / И. Л. Муравьева — «Эксмо»,
2017 — (Любовь к жизни. Проза И.Муравьевой)

ISBN 978-5-699-99627-8

Новый роман Ирины Муравьевой «Сады небесных корней» – роман-фантазмагория, веселый и напряженно-духовный, пародийный и откровенно-возвышенный, в котором обращения к Ветхому и Новому Завету сливаются с песней «Катюша» и русскими романсами, – неожиданная и по-своему провокационная страница в ее творчестве. Муравьева пишет рискованно, работает с помощью сильных электрических разрядов, ее не отпугивает ни глубина библейских притч, ни открытая «телесность» и эротика многих сцен. Роман о зародившейся в тени виноградника земной любви между мужчиной и женщиной, от главы к главе набирая свою силу, становится романом о неиссякаемой любви матери к своему ребенку.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-99627-8

© Муравьева И. Л., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	8
Глава 3	12
Глава 4	16
Глава 5	21
Глава 6	23
Глава 7	26
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Ирина Муравьева

Сады небесных корней

© Муравьева И., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

В романе нет ничего случайного. Всё то, что может показаться орфографическими, пунктуационными, грамматическими, речевыми, фактическими, стилистическими ошибками, таковым не является.

Это намеренные особенности данного текста.

Ирина Муравьёва

Глава 1

Похищение

Никто не уверен в том, что мать Леонардо была итальянкой. Напротив. Семьдесят процентов специалистов склоняются к тому, что она была родом из Азербайджана, но с русскими корнями. А в Италию попала исключительно потому, что сдалась в плен. Многие тогда сдавались в плен, поскольку иного выхода не было. В Италии ее сразу же переименовали в Катерину, хотя настоящим именем невольницы было простое, но звучное ближневосточное имя: Зара. Точнее, Захра. А если совсем уже точно, то вот как: Захра Кехкамал аль Кигиз. По отцу. У маленькой Зары так, как и у всех, был в жизни отец. Суровый и складный, с солидным лицом. В семье его звали Кемалом, но в метрике записано так: Кехкамал. А Кигиз был Зариным дедом, но умер в младенчестве, никто его толком не помнит. Отец Кехкамал обладал обилием жен и детей. И вот вам загадка: как это случилось, что дочка такого отца – и богатого, и в меру приветливого, и делового – вдруг стала рабыней? Мне кажется, в этом во всем виновата служанка Нахраби. Веселая, толстая и косоглазая, она заморочила голову даже Кемалу Кигизу. А он любил дочь. Он очень любил. Среди быстроногих детишек в гареме она выделялась особенной нежностью.

Наевшись поутру лепешек, Нахраби будила ленивую Зару и шла, болтая без умолку, в город на рынок. А там, пока Зара, расширив зрачки, стонала от вида браслетов и тканей, Нахраби, чертовка, из-под покрывала мигала торговцам косыми глазами. Хотела устроить на старости лет себе тоже личную жизнь. А рынок – ведь это же ад. Среди криков, среди пряных запахов, гнили, кувшинов с кумысом и просто кувшинов, которые выставлены на продажу, среди опавших овощей, слегка окровавленных туш убитых ягнят и козлят, серебрищейся рыбы – короче, всего, чем питаются люди, во что наряжаются, чем украшают жилища, забыв, что *туда* не возьмешь ни миски, ни чашки, ни пухлой подушки, так вот: среди рынка – нахально, открыто – гуляют и старые, и молодые враги человечества бесы. Прижавшись слюнявой бородкой к затылку какой-нибудь домохозяйки, вливают ей в мозг свои гадкие речи, и женщину, не испытавшую счастья, склоняют они на грехи и предательства. Вернется она в свою саклю, и станет ей, бедной, казаться, что лучше мерзавку Аиду самой отравить, чем вечно терпеть, как хозяин и муж, отец дочерей ее и сыновей, нафабрив усы, отправляется вечером «проведать вдову и помочь ей с хозяйством».

Моя, впрочем, версия очень проста: увидел какой-нибудь работороговец смущенную Зару с косой, перевитой атласною лентою и пересыпанной блестящими камешками, да смекнул, что надо хватать, пока кто-то другой ее не заметил среди шумной торговли. Все произошло за секунду: нагнувшись с седла, он сорвал покрывало с ее белокурой склоненной головки, продел свои жадные руки под мышки ее тонких рук, и испуганный люд увидел, как девушку, словно лозу, покрытую всю виноградом, сломало, мелькнули босые ступни, кусок шеи, раскрытые губы, и лошадь сначала взвилась, вздула светлую пыль, но тут же исчезла, как будто растаяла в пронизанном золотом воздухе.

Вот так началось ее рабство. Сначала, конечно, был Константинополь. Захра закрывалась платком, рукавами – но разве такое лицо можно спрятать? Оно же светилось, как плод золотистый, мерцало, как жемчуг мерцает сквозь воду. Сидела, вся сжавшись, ждала своей участи. Сейчас нам почти невозможно представить: на рабовладельческом рынке, в повозке, заплаканная, после долгих, бессонных, безлунных ночей, под недремлющим оком какого-то грязного работороговца сидела та женщина, чей хрупкий облик, как нас уверяют работники разных известных музеев и частных коллекций, *он* запечатлел на полотнах! Уму просто не постижимо. И сердцу.

Много было на нее желающих, очень много. И даже то, что девушка мусульманка, никого не останавливало. Народ-то вокруг переменчивый. Был, скажем, сперва иудей, а потом вдруг стал православный. Или наоборот. А все оттого, что нет в сердце людском серьезного чувства. И я даже больше скажу: и вера-то мало в ком есть. Ее, как всегда, подменили на споры. Разборки пошли: «А, так ты иудей? Куда же ты с носом своим иудейским пришел в православный наш храм? Помолиться? А ты в синагогу иди и молись! Сперва революцию тут совершили, распяли Христа, а теперь помолиться?» Не меньше упреков с другой стороны: «Ты, значит, крестился? Так ты теперь *выкрест*. А выкрест по-нашему значит *прохвост*».

Ах, люди вы, люди! Да вы оглянитесь вокруг! Что видите? Дерево. Куда оно тянется? К облаку, к небу. И вы бы подняли глаза, да повыше. И стойте тихонько, смотрите на небо, на белое облако. Не торопитесь.

Стремящихся приобрести нашу Зару скопилось у этой повозки штук десять. А может, и больше, всех не сосчитаешь. Но работорговец гнусавил одно: «пятьсот золотых». Это даже сейчас огромные деньги, а в те времена можно было купить за них кучу девушек, а уж мальчишек – такое количество, что не прокормишь. Скажу вам, что эта цена превышала и цену на финских подростков. Они были редкостью, роскошью, чудом. И чтобы достать их, пускались на хитрости. А если кому повезет и на рынке появится белое-белое, с глазами прозрачнее льда существо – то тут начинались такие торги! Могли и шестьсот золотых попросить. И это за мальчика! А уж за девочку – пускай кривоногую, с красными пятками, но чтобы была бело-брысой, бесцветной, безбровей, а если откроешь ей рот, то чтобы и небо ее было белым, – за девочку-финку, латышку, эстонку давали по тысяче и не жалели. Да, странные вкусы и странное время. Конечно, скажи этот работорговец, что Зару он может отдать за четыреста, схватили бы тотчас, но он заартачился: пятьсот золотых, ни копейки, ни меньше. А как унижали ее! Выводили на красный истертый ковер, говорили: «А ну подними покрывало, малышка!» Она поднимала. «Шальвары сними!» Снимала шальвары, стояла в одном прозрачном халате, горела от ужаса. И как появился старик, не заметила. А он к ней и близко-то не подошел. Не щупал, не мял, даже груди не тронул. Отдал все пятьсот и кивнул головой: «Ведите на лодку!» Потом обернулся: «Накройся, девица!» Тогда она, как говорят, села прямо в базарную пыль и лишилась сознания.

Пришла в себя на каравелле. Вокруг одна синева, темно-синие волны. На ней покрывало, прилипшее к телу, и рядом тот самый старик. Ест Зару глазами, руками не трогает.

В манускрипте «Сады небесных корней», датирующемся серединой шестнадцатого века и только недавно обнаруженном в одной из пещер под Миланом, описан такой разговор.

– Как тебя зовут, девица? – потресканным от пережитого басом спросил он.

– Меня зовут Зарою.

Беседа их шла на арабском.

– Никто и не вспомнит о том, что ты в муках дала ему жизнь, – объяснил ей старик. – А ну, улыбнись мне.

Она улыбнулась.

– Да! – Он почесал свою левую бровь. – Везде будет эта улыбка. Что делать! Пускай их гадают, на то они люди! Но ты будешь долго рожать его, долго!

– Как долго? – спросила испуганно Зара.

– Дня два или три. Меньше не получается.

– На то, значит, воля Аллаха. Что делать. – И Зара опять улыбнулась.

– Ты видишь, какое здесь бурное море? Судьба его будет похожей на море.

– Так в море ведь тонут! – шепнула она.

– Кто тонет, красавица, кто выплывает... Чем больше душа, тем труднее. Запомни.

И, словно обугленной, легкой ладонью коснулся ее головы.

Глава 2

Добрая прихожанка

Деревня была небольшой, не более двадцати домов. Холмы, покрытые виноградником, извилистая река. В центре деревни – белая, как голубь, прошлым летом заново отстроенная церковь. У деревянной Мадонны – детское лицо с выпуклыми полуприкрытыми веками, уголки рта опущены. Скорбь застыла в небесных чертах Ее, и женщины под черными покрывалами тусклыми огоньками свечей освещали полуприкрытые веки, тонкие, удлинённые пальцы с чуть приподнятыми кончиками и не давали свечам своим погаснуть ни днем и ни ночью.

Катерина, о которой в деревне знали только то, что привезена она была из далекого Константинополя на невольничьей лодке – причем остальные семеро невольников умерли в дороге, а она чудом выжила, хотя долго болела, лежа на соломе в прохладном, пахнущем зерном амбаре, и ее навещал настоятель ближнего монастыря отец Антонио, который проникся к ней жалостью и, не ожидая, что девушка поправится, окрестил ее, так что с разворошенной соломы поднялась она уже христианкой, – эта худая и скромная Катерина приходила в церковь по вечерам после работы. Жила она в доме хозяина, про которого в правдивом источнике «Сады небесных корней» почти ничего не сказано. Злые языки утверждали, что он перекупил ее по дешевке, потому что никому не нужна была больная и умирающая работница. Он не только перекупил ее (опять-таки если верить слухам!), он дал ей свободу, и она жила у него в доме на том вон высоком холме, где тень виноградников кажется синей, как все остальные свободные девушки. Не бедствовала, не нуждалась. Болтали, кстати, в деревне, что золотоволосая и черноглазая Катерина потеряла свою девственность еще на лодке, поскольку странствие по открытому морю продолжалось много дней и ночей, а никаких других удовольствий, кроме любовных, в те времена не было. Морские условия, скудная пища, ни радио, ни телевизора. То, что она была светловолосой при своих черных, с поволокой, глазах, запомнили все, и в «Садах небесных корней» сказано: «закрывая лицо светлыми волосами, смотрела сквозь них она, как на рассвете пылал этот бархатный красный берет, как он становился все дальше, все меньше и вскоре исчез окончательно».

Возникает подозрение, что матерью Зары была православная русская женщина, курносая, широкоскулая, с веснушками на переносице и светло-пшеничного цвета косой. К тому моменту, когда дочку его по нерадивости болтливой Нахраби украли прямо с рынка, все жены Кемала весьма были живы и очень здоровы. Одной только не было: матери Зары. Вполне может быть, что какая-то дикая, ревнивая до отвращения наложница зарезала эту чудесную женщину, за день или два до того подарившую Кемалу Кигизу младенца. Наверное, так все и было: прокралась дикарка-наложница в спальню, где мать, улыбаясь лукавой улыбкой, качала дитя, и кинжалом убила ее прямо в сердце. Когда же ворвался туда с диким ревом Кемал, то она, православная, с пшеничного цвета косой, умирая, его осветила на память все той же спокойной, немного лукавой улыбкой. Затем и скончалась, испачкав своею невинною кровью турецкий ковер. Все это, конечно, догадки, навешанные одной широко знаменитой поэмой, – но кто мне ответит, откуда у дочки такие волнистые светлые волосы?

Итак, Катерина (отныне мы будем ее называть только так!) жила в большом доме, поместье, точнее, и принадлежал он тому человеку, чье имя теперь никому не известно. В «Садах небесных корней» о нем не сказано ни слова. Может, он спас ее просто из жалости, из жалости дал ей свободу, а вскоре всмотрелся да и возжелал? Через месяц после выздоровления она пришла в церковь, где все так и ахнули. Светлые, струящиеся по плечам волосы были перехвачены атласной лентой, и сквозь бледно-серого цвета накидку просвечивал каждый ее волосок, и виден был тонкий пробор, словно след, оставленный птицей, прорезавшей воздух лучистым

крылом. По обычаю времени на Катерине было два платья: нижнее, белое, шелковое, приспособенное у плечей и обшитое по подолу мелкими жемчужинами, и верхнее – темно-голубое с коричневыми бархатными полосами на груди. Свисали, к тому же, жемчужные серьги почти до ключиц. Она с тихим достоинством поклонилась собравшимся и прямо подошла к скорбной Богоматери, опустила на колени и, закрыв глаза, о чем-то долго молила Ее, не меняя своей склоненной позы и ничего вокруг не замечая. Когда служба подошла к концу, Катерина рванулась, чуть было не опрокинув на своем пути пожилую, всеми уважаемую матрону, которая, если поверить источникам, приходится бабкой, а может, прабабкой покойной Терезы, всемирно известной беззубой святой, почившей лет десять назад где-то в Индии. Она оттолкнула матрону и тут же сокрылась за бархатной шторкой.

– Дитя мое, – тихо сказал ей поникший отец Бенджамено, который в то время служил настоятелем. – Мне трудно поверить тому, что рассказы твои соответствуют жизни.

– Все правда, – вздохнула она. – Нет пути мне в Небесное Царство. Слаба моя плоть.

– Тогда расскажи еще раз, Катерина, какое видение было тебе на лодке невольников. Как выглядел призрак?

– Отец мой! – она возмутилась с горячностью. – Зачем вы его называете призраком? Ведь он говорил громким голосом, он ведь отер мои слезы! И руку я помню, и перстень на пальце.

Священник опять помрачнел.

– А перстень был черным, дитя? Ты не помнишь?

– Все помню! Из темного золота, с камнем, огромным и черным, как ночь.

– Плохие дела, – он поник удрученно. – Известия, им приносимые, часто сбываются в будущем. Какого же сына предрек он тебе?

– Сперва он сказал, что меня все забудут. Потом, что я буду рожать его в муках. И что-то еще про улыбку... Не помню.

– Улыбка твоя удивляет людей. – Священник вздохнул. – В ней много лукавства, но много и грусти. Взгляни, как вокруг улыбаются люди: открыто и весело. А ты даже губ своих не размыкаешь. Тревожат ли мысли тебя, Катерина, о вере, в которой взрастили тебя?

– О вере моей? Нет, она умерла, как умерло имя, какое мне дали. Другое тревожит меня... И так страшно, отец мой!

– Тогда говори до конца.

Если бы кто-то увидел в эту минуту лицо настоятеля, то он бы поразился произошедшей в нем перемене: отец Бенджамено Витторио стал похожим на старуху – любопытную, болтливую старуху, которая в воскресный полдень открывает ставни своего дома и с жадностью вслушивается во все, о чем говорят прохожие на улице, благо окна ее находятся на первом этаже и жимолость, обвившая их своими белыми цветочками, ничуть не мешает.

– Все-все говорить?

– Да, все-все, до конца.

Мне, к сожалению, приходится опять сделать некоторое отступление, и я его сделаю. Не потому, что обладаю вздорным характером, толкающим на то, чтобы перепархивать с предмета на предмет, как какая-нибудь птица, а потому, что всякий разговор, если вести его непредвзято, заставит искать, где ты сам, а может быть, твой собеседник вдруг сбился и сделал крутой поворот, как ручей, который, пылая на солнце, наткнется, бывало, на камень подводный и тут же утратит все краски свои, и тут же, холодный, журчать перестанет. Вот так и сейчас с Катериной исповедью. Вцепился священник в такие подробности, которые сану его неприличны. К тому же старик. На это я вам возражу, что старик-то еще молодому даст жару. Пока молодой будет морщить свой лоб, румяный старик побежит куда надо и там все, что надо, обделает живо. Но главное вовсе не в возрасте. В чем? В обете безбрачия, вот в чем. У нас, например, хоть в Москве, хоть во Пскове, священник – женатый всегда человек. Вот я наблюдала: стоит, скажем, матушка и прячет животик под теплою шалью. Муж вон проповедует, благо-

словляет, а ей вспоминается, что было ночью на ихней перине, и сердце колотится: «Сейчас службу кончит, обедать пойдем, огурчиков я засолила, капустки... А там скоро спать... Ох он мне и задаст! Ведь я говорю ему, я ведь толкую: «Игнаша! Спугнешь нам ребеночка! Тише!» Уж больно охоч до меня, ненасытный!»

Не то в католичестве. Возобраняется служителю церкви земная услада. Поэтому многие часто впадают в грехи так, как Волга в Каспийское море. То мальчика бросятся вдруг целовать, воспользовавшись темнотой и безлюдием, а то молодую вдову так затискают, что только дивиться приходится людям тому, что рождает она, безутешная, спустя целый год после мужниной смерти.

Теперь про отца Бенджамена Витторио. Он мальчиков не целовал и не гладил. Не трогал руками ни жен и ни вдов. Короче, безбрачие было нелегким для плоти его, но желанным душе. И лишь одного он не смог победить: того любопытства, которое жгло как огонь. На всякие тайны постели супружеской, уж не заикаясь и о *несупружеской*, отец Бенджамено бросался как ястреб и требовал полной с собой откровенности.

Вот и сейчас, вслушиваясь во влажный от слез голос Катерины, он почувствовал сладостный холодок, побежавший вдоль его старого позвоночника, и наострил уши.

– Как часто ложится с тобой он, дитя?

– Четыре раз за день и столько же за ночь.

– Имеет ли ключ он от спальни твоей?

– Я не запираю на ключ своей спальни.

– Ты разве все на положеньи служанки?

– Ах, что вы, отец мой! Какой там служанки? Вы видели жемчуг на мне? И мантилью?

– Мантилью я видел и жемчуг заметил. Но мы не об этом с тобой говорим. Зачем ты сбиваешь меня, Катерина? Итак, он приходит и сразу ложится?

– Да нет. Не ложится, а сразу бросается.

– Бросается? И?

– И срывает с меня сорочку и чепчик.

– И чепчик срывает? А чепчик зачем?

– Не знаю, отец мой, он не объясняет. Срывает мой чепчик, бросает все на пол.

Слюною наполнился рот Бенджамено.

– И ты остаешься ничем не прикрытой и наедине с посторонним мужчиной?

– Да, я остаюсь с ним, и он начинает любить меня.

– Опомнись, дитя! Разве речь о любви? О мерзком и богопротивном соитии!

– Я знаю, отец.

Она разрыдалась. И вынула из своих хрупких ушей жемчужные серьги.

– Примите, отец мой, на помощь сироткам...

– Отдашь Константину, – отрывисто молвил отец Бенджамено. – Теперь Константин у нас ведаёт всею хозяйственной частью. Итак, Катерина. Пока он безжалостно, гнусно и низко тебя оскорбляет, что делаешь ты? Зовешь ли на помощь? Клянeshь ли? Кусаешь его в подбородок? Царапаешь щеки?

– Нет, нет.

– Что же делаешь ты?

– Я тоже его обнимаю, отец.

Священник притих. Прошло минут шесть. Потом он опомнился и зашептал:

– *Anima Christ sanctifica me*
Corpus Christi salve me
Sanquies Christi inebria me
Aqua lateris Christi lave me

*Passio Christi confata me
O bone lesu exaudi me...*¹

*Душа Христа, освяти меня
Тело Христа, спаси меня
Кровь Христа, опьяни меня
Святая Вода, омой меня
Страсти Христа, укрепите меня
О милосердный Иисус, освободи меня...*

– Мне страшно, отец. Все молитвы бессильны... – опять повторила она.

– Молитвы бессильны?! Я мог бы проклясть тебя! Да! И Господь простил бы мне это проклятье! Поскольку в душе ты осталась в своей прежней вере! В своей богохульной и богопротивной языческой вере! И я бы мог даже тебя отлучить от Святой Нашей Церкви. Как знаешь кого отлучали? Не знаешь? А я ведь могу и сказать!

Он высморкался и опять зашептал, но тихо, почти даже и неразборчиво.

Закончилось мирно. То ли отец Бенджамено Витторио часто сталкивался с подобными безобразиями, то ли светлый небесный ангел стерег его гнев и изрядно смягчал в душе его ярость, чтобы не кипела она с такой силой и, вроде цунами, на головы бедных его прихожан не падала бы, превращая их, робких, в бесформенные и дрожащие тушки. К тому же и Змей, совративший Адама и мраморно-белую голую Еву, так и не уполз никуда, и любому, кто всматривается в густую листву, мерещится в ней, в этой яркой листве, его окровавленный, скользкий язык. Да кто разберет! Короче, расстались они полюбовно, и он со слезами внутри старых глаз опять отпустил ей грехи.

Встряхнув волосами и миг ощутив, что серьги уже не мешают, не клонят к земле, Катерина волнистой походкой пошла прямо к берегу, усыпанному полевыми цветами, и там затянула старинную песню:

*Расцветали яблони и гру-у-ши!
Па-а-а-плыли туманы над рекой!
Выходи-и-ла на берег Катюша,
На высо-о-кий берег на крутой!*

Первую строчку этой песни она пропела по-итальянски: *Fiaritura mela a pera*, но тут же почувствовала, что благозвучие ее новой родины сразу погубит таинственность смысла да и бесшабашность, неведомую чужестранцам, и сразу вернулась к тому языку, которым поют ледяные просторы, где бабы босыми идут за водою и в сани впрягают послушных медведей.

¹ Лат.

Глава 3

Побег

В тот же вечер состоялся разговор между Катериной и человеком, о котором никто ничего не знает. Ну хоть бы какое-то имя! Ни имени нет, ни фамилии нет, ни возраста, ни описания внешности.

– Роди мне ребенка, – сказал он, задумчиво уставясь глазами в огонь. – Уже бы давно понесла. Все пустая!

Катерина, сидящая в легкой лиловой рубашке на красной подушке, слегка усмехнулась.

– Когда-нибудь я за усмешку твою зарежу тебя или выброшу в реку, – сказал он. – Я сына хочу, Катерина.

– А мне говорили, что наша округа полна твоих деток. Ведь ты, говорят, не привык пропускать ни женщин, ни девушек. Даже старух – и тех ты насилуешь.

– Я не насилую! – Он хрипнул, взмахнув рукавом, до локтя обшитым куницей. – Приходят и сами подол задирают. Старухи жадны, похотливы, завистливы.

– И ты станешь старым. – Она усмехнулась. – Седым, редкозубым, весь сгорбишься. Ночью намочишь кровать...

– Молчи, Катерина! Я знаю, что ты ходила к Инессе и пьешь ее зелья. Я-то, дурак, удивлялся, в чем дело? Давно бы должна понести! Так вот же разгадка: волшебные травы! Я влез в твой сундук, дорогая, и вытряс оттуда все эти колючки! Сегодня уж я постараюсь, и завтра ты, золотко, встанешь брюхатой. Сейчас еду в Падую. Буду к полуночи.

Оставшись одна в своей комнате, Катерина упала на затканное розовыми шелковыми тюльпанами покрывало и застыла. Каждую ночь к ней приходил один и тот же сон: беременная, она сидит, привалившись спиной к стене. Все тело болит, а внизу живота как будто ворочаются жернова. Вокруг стоят люди. Они говорят, что нужно раздвинуть как следует ноги, иначе она не родит. Катерина не слушает их и все крепче и крепче сжимает колени.

– Не надо! – бормочет она и руками обхватывает свой огромный живот. – Останься во мне!

Вдруг боль ослепляет ее, и головка ребенка, горячая, словно огонь, вся в крови, проталкивается наружу. В эту секунду Катерина просыпалась от страха. Инесса, горбунья, с глазами столь яркими, как будто бы в каждом зажгли по светильнику, сказала, что сон этот значит одно: родится, наверное, мальчик, которого насильно отнимут у матери.

– Смотри! – говорила Инесса. – Не вздумай рожать от хозяина! Он кормит тебя, это я понимаю, и бархат тебе покупает, и серьги, но дети рождаются не от подарков. Их Бог посылает. Вот, пей мой отвар, и сгниет его семя в твоём женском лоне, а после, смешавшись с нечистой месячной кровью, уйдет.

...Она лежала на покрывале, затканном тюльпанами, и думала, что же ей делать сейчас. Потом поднялась, увидела в окошке, что вечер уже наступил – серебрятся соцветия звезд, – подсчитала в уме часы до его возвращения из Падуи (а их оказалось не-много!) и тут же решила бежать. Побросала в платок свои украшения, самые ценные, включая рубиновую застёжку и нитку холодного белого жемчуга, два платья, мантилью от зимнего холода, потом башмаки из сатина для танцев, потом темно-красные туфли из кожи с подставками, чтобы по грязи не хлюпать, задула свечу и была такова.

Придирчивому читателю уже сейчас понятно, что многие моменты жизни мусульманской девушки Захры Кемал Кигиз, получившей при крещении имя Катерина, я просто-напросто

опускаю. И не потому, что не умею складно, с захватывающими подробностями рассказать о том, что испытала она, когда ее кто-то чужой (к тому же мужчина!) схватил, как клещами, и перепоясал ее гибким телом седло скакуна, о том, как стонала она в темноте невольничьей ночи, взывая к Аллаху, о том, как ее волокли по песку к большой каравелле, которая, вяло покачиваясь на зеленых волнах, ждала новой партии женщин-рабынь из Константинополя. Тогда же она потеряла то главное, что есть украшение девушки: честь. Какой-то невольник, не зная различия меж злом и добром, повалил ее, стукнув затылком о лавку, задрал ей подол, но только испачкала кровь ее девичья мерзавцу весь пах, как она, изогнувшись, плевром (столь увесистым, что даже странно, откуда так много слюны набралось во рту, пересохшем от жажды?) попала ему в переносицу. Унизила этим поступком насильника, но чести – увы – не вернула, конечно: ее украшение главное мягко спустилось на темное дно и досталось какой-то акуле, охочей до крови. Да, чуть не забыла! Еще был невольничий рынок, где ей заглядывали прямо в рот и считали молочные и не молочные зубы. В конце концов, все это вдруг завершилось холодным амбаром, где сено немного подгнило от влаги и где наша бедная Зара металась в поту и горячке неведомо сколько. Туда и явился однажды под утро богатый плантатор. А как же иначе назвать мне того, о ком даже в книге «Корней» нет ни слова? Конечно, плантатор, поскольку имел он холмы виноградников, реку, где рыбы водилось столь много, что ей, этой рыбе, и места в воде не хватало, поэтому налимы и щуки, уставши толкаться, стремились как можно быстрее покончить с такой унижительной жизнью и сами, глотнув напоследок родимой водички, ловились в большие рыбацкие сети. К тому же имел он луга заливные и несколько горных альпийских лугов, где верный пастух его в войлочной шапке играл на свирели и нежные овцы водили овечьи свои хороводы. Богат он был, этот – увы! – безымянный. И в Падуге что-то имел: то ли лавку свою ювелирную, то ли пошивочный цех зимней женской одежды. Но хватит об этом. В деньгах разве дело, когда к юной женщине в темный амбар приходит приличный вполне человек, снимает берет и кладет ее руку на свой лысый череп? А после всю ту же безвольную руку кладет на свой шерстью заросший кадык? Отнюдь не в деньгах тогда дело. Отнюдь.

Сначала она была столь благодарна, что не помышляла о сопротивлении. Сидела у ног его и целовала пропахшие мехом корявые пальцы. Он даже не трогал ее поначалу. Потом пригласил к ней врача. Этот врач, с повадками мыши, с большими ноздрями, в узорчатых бархатных туфлях, как будто он не медицине отдал свою жизнь, а танцам и всяким пустейшим занятиям, сказал, что не может ручаться за то, что женщину не заразили на лодке.

– Какой же болезнью? – спросил его тот, чье имя не знает никто.

– Я советую сначала пустить ей как следует кровь, – с гримасками, втягивая ноздрями томительный запах клубники и яблонь, плывущий из сада сквозь пестрые окна, ответил целитель. – Затем я прошу позволения, сударь, на то, чтобы мне осмотреть изнутри ее детородные органы, сударь. – Зрачки его сразу расширились, словно он что-то увидел, пока говорил.

– С условием, лекарь. Я буду присутствовать на вашем осмотре.

– Конечно, конечно! – Врач шаркнул узорчатыми башмаками. – И если желаете, можете даже воспользоваться моей линзой, сударь.

– Вы располагаете линзой?

Врач громко икнул от волнения.

– Да! Привез из Саксонии. Располагаю. Высокого качества горный хрусталь. Оправленный в золото. Дивная штучка!

Катерина слышала весь этот разговор, но ее итальянского языка еще не хватило на то, чтобы понять каждое слово. Она заливалась слезами стыда, пока врач терзал ее смуглый живот, простукивал нежную гибкую спину и приподнимал ее груди, как, скажем, какой-нибудь наш подмосковный грибник, насупившись, приподнимает ладонью еловые лапы и шарит в них пал-

кой. Из кожаной сумки врача извлекли какие-то шипчики, скальпель, ланцет (все средневековое, низкого качества!), потом чистый, белый кусок полотна, потом еще-что в зеленой бутылке.

– Ложись, Катерина, – сказал ей хозяин. – Я верую в Бога, но не сомневаюсь, что наша отечественная медицина способствует лишь продвижению добра. И люди, которые только молитвой готовы лечиться от разных болезней, весьма ошибаются. Дичь. Темнота.

Врач, нервно хихикнув, раздвинул ей ноги, и оба вонзились зрачками в то нежное, в то золотое с малиновым в своей глубине, лишь слегка приоткрытой.

– Поскольку вы, сударь, я вижу, согласны, – вдруг шумно забрызгав слюной, шепнул врач, – на произведение осмотра *organa femina externa*, а также *femina interna*, прошу вас: закройте и окна, и двери. Боюсь до безумия.

– Бойтесь святой нашей церкви?

– Боюсь. – И врач быстрым, скользким, мышинным движением набросил кусок плотной ткани на нежное и золотое с малиновым. – Огня я боюсь, на котором живыми сжигают нас, грешных.

– Не бойтесь. Я не донесу. Ведь я о себе беспокоюсь, почтеннейший. Ведь это, в конце концов, я собираюсь вложить свой единственный меч в эти ножны. Как там на латыни? Не помните, друже?

– *Mitte gladium in vaginam*, – волнуясь, ответил ученый. – Вложу меч в ножны.

– Вот именно: *mitte gladium! Mitte!* Не Федька-пастух, не Чиполо-дворецкий, а именно я собираюсь доверить ничтожнейшей девке здоровье и жизнь! Валяйте, осматривайте и не бойтесь!

Собрав тонкие, растрескавшиеся от волнения губы в подсохший бутон, врач немедленно облил себе руки водой из бутылки, и вместо пьянящего запаха роз по комнате сразу разлился тяжелый, как будто нарочно отравленный запах.

– Чем это, почтеннейший, вы поливаете сейчас свои руки? – Патрон, побледнев, вынул шпагу, оперся тяжелым бедром на ее рукоятку.

– Ах это? – И врач засмеялся. – Наука! Защита от гадов и от паразитов. *Serpetium*, сударь, кругом *et serpetium*, гады, насекомые!

– Какие же гады вам так докучают? – спросил с любопытством хозяин. – И чем вы их травите, если не шуткасекрет?

Тут врач, на секунду забывши про женщину, приблизил свой сморщенный рот к темно-красному, горящему уху патрона.

– Вы не представляете, что происходит! Ведь труп, простой труп, не достать, понимаете? Один ученик мой, дотошливый юноша, он так говорил: «Какой же я врач, если я не держал в руках даже толстой кишки?» Я предупреждал его, я умолял: «Стогнацио, друг мой, есть верные способы поставить диагноз. Моча, например: темно-желтая, белая. Бывает зеленой, бывает коричневой. При всякой болезни меняет свой цвет». А он, безрассудный, украл где-то труп. Бродяги бездомного, старого нищего. Возился всю ночь, до уретры дошел! А утром донос! И забрали. Потом увезли и сожгли на костре. Я лично не видел, но мне говорили. Мальчишка, сопляк! Но я плакал навзрыд. Ведь так быстротечно сгореть!

«Напрасно старается! Ишь, провокатор! – подумал патрон. – Меня хрен поймашь!»

И плечи приподнял вполне равнодушно.

– Как? Из-за кишки? Опрометчиво. Глупо. Молился бы лучше, чем ночь напролет копать в прогнивших останках бездельника!

Врач понял, какую ошибку он сделал, и тут же расплылся в дрожащей улыбке.

– О да! Как вы правы! Я предупреждал. Молитва, молитва и снова молитва! Однако за дело!

Он быстро встряхнул рукавами, и пальцы его, изогнувшись, как черви, раздвинули нежное и золотое настолько, что все волоски расступились и перед глазами раскрылся цветок.

Хозяин стал бледным.

– Все чисто! – сказал быстро доктор. – Снаружи здорова.

– Вы дальше смотрите. – Патрон захрипел и вновь ухватился за шпагу.

– Помилуйте! Я и смотрю, ибо женщина содержит в себе столько нежных лазеек, такие глубокие впадины, столько, помилуйте, сока, что все виноградники, когда их плоды соберут одним разом и выжмут в бездонную бочку, – и то не сравнятся с одной грешной женщиной!

– Вы, это, потише с поэзией, сударь... При чем виноград здесь? Какие там бочки?

Но лекарь нащупал внутри Катерины такое, что весь залоснился.

– Ну вот. *Il nostro uterio! Nostrous uterius!* Матка! Сокровище, в коем все происки дьявола смиряются перед Господнею волей!

– Не понял, однако... – опять прохрипел угрюмый хозяин той женщины, чья покорная и сокровенная плоть сейчас на глазах его вся обнажилась, и звук ее стал звуком талой воды, когда по ней хлюпают громким ботинком.

– *Uterius* вашей избранницы, сударь, – само совершенство! – с торжественным видом сказал странный лекарь. – Я должен заметить: одна из ста тысяч, нет, ста миллионов, а может, и больше, роскошнейших женщин, невиданных женщин имеет такую прекрасную матку! Вы, сударь, счастливчик, любимец фортуны! И тот, кто созреет в сей матке, кто будет сосать эту грудь, это млеко, – тот будет не просто еще одним смертным...

Глаза его вдруг закатились, он выдернул судорожно из Катерины всю влажную, как в перламутре, ладонь.

– Больная здорова, – сказал он убито. – Вы можете жить с ней и не опасаться.

– И если я буду иметь с нею сына...

– То он вас не разочарует, сеньор!

– Не будет кривым или, скажем, горбатым...

– Кривым? Не смешите меня! В такой матке? В такой *la... la bella...* прекраснейшей матке? Она же как яблоко, сударь, как яблоко!

– Да что это вы все про фрукты, про фрукты... – скрывая неловкость, прошамкал патрон. – Возьмите, однако. Вот вам за осмотр.

И вынул монету из чистого золота. Тогда докторам так платили.

Глава 4

Встреча

Катерина сплюнула в пыль виноградную косточку и, задохнувшись, остановилась. Теперь нужно прятаться. Он ведь хотел, чтобы зачала она нынешней ночью, и выбросил травы. Однако зачать и терпеть девять месяцев, как он будет гладить живот ее теплый своею корявой мужицкой ладонью, а после родить и увидеть, что мальчик, который ей снится сейчас, не похож на светлого ангела, а повторяет отца своего – те же губы, и нос, и даже его подбородок раздвоенный, – она не хотела. Была своевольной настолько, что часто и смерти совсем не боялась. Все лучше, чем эта постылая жизнь.

– Пускай на меня нападут кабаны, – сказала она, глядя в небо. – Пускай! Распорет меня своим рогом кабан, и сразу я освобожусь от того, кто каждую ночь хуже самого дикого из всех кабанов меня тоже терзает. Хотя и не рогом, но вроде того.

Послышался топот копыт. Катерина метнулась с дороги в кусты. Это он. Вернулся из Падуи, ищет ее. Сейчас будет ей выворачивать руки, ругаться такими словами, которыми ругаются только торговцы на рынке.

Вздывая копытами пыль, появилась облитая светом луны, словно призрак, с откинутой вбок светлой гривой лошадь. В седле летел всадник, совсем незнакомый. Заметив испуганную Катерину, он остановился, и светлая грива упала на спину его быстрой лошади снопом серебристого звездного света. Теперь к вам вопрос, дорогие читатели. Вы думаете, что так часто бывают в простой нашей жизни те самые *встречи*? Да нет, ошибаетесь. Только однажды. И *ни*ть, так сказать, рвется тоже однажды. Я песню-то точно не помню, но помню, что там это сказано очень правдиво. А люди себе не признаются в этом, поэтому каждый старик с бородавкой, мясистой от старости, каждая бабка с двумя волосками над верхней губой уверены, что в ихнем будущем много еще разных встреч и дорожных романов. От этого бабки и деды летают в седых небесах на больших самолетах, пускаются даже в морские круизы, где все наряжаются к ланчам и ужинам, сверкая часами и бижутерией. А вдруг?! Ведь дорога! Ее даже Гоголь, известный писатель, так ловко воспел. Да что вы, родные? Куда вы, хорошие? Тихонечко надо, легонечко надо, а там и кровать, и супчик с грибами, и Машенька-внучка придет навестить в своей этой красненькой, мягонькой шапочке... Была уже *встреча*. Конечно, была. Но, кажется, выпала, как из высокого гнезда выпадает задумчивый птенчик. Ау, моя встреча! Ты где, моя радость?

Вернемся, однако, к внезапному всаднику. Заметив, что женщина прекрасного телосложения, гибкая, как стебель кувшинки, старательно прячет лицо под платок и хочет бежать, он прыгнул с седла.

– Ты посто-о-о-й! – и вдруг засмеялся. – Постой, красавица моя! Я ведь не убийца, не вор, не разбойник. Чего ты боишься?

– А кто тебя знает там, кто ты? – спросила она грубовато от страха.

– Я – Пьеро да Винчи.

Вдруг яркая молния сильно и страшно прорезала небо, и в щели сверкнуло лицо или что-то, похожее на человеческое лицо: такое же смертное, бледное, тонкое, с тоскою во взгляде.

– Ты видел? – спросила, дрожа, Катерина.

– Я видел, – ответил он, тоже дрожа. – Позволь, я тебя обниму, ты замерзла.

Она вдруг прильнула к нему, словно только того и ждала, чтобы он попросил. И замерли оба.

«Я не отпущу его! – вот что подумала тогда Катерина. – Я этого не отпущу ни за что!»

– Пойдем в виноградник, – сказал он развязно, скрывая смущение. – Сейчас может хлынуть, гроза собирается.

– Не будет грозы. – Катерина взглянула опять в небеса. – Вот уже развиднелось, и звезды вернулись.

В шатре, образованном плотным сращением ветвей и плодов, густо пахнущем спелым тугим виноградом, они и уселись.

– Как звать тебя, милая?

– Что тебе имя? – Она отвернулась.

– Да, верно, – сказал он. – По имени разве поймешь, что за женщина, с которой ты переживаешь грозу в чужом винограднике?

Она заразительно расхохоталась. Я как-то забыла сказать: Катерина была хохотушкой и в доме отца все время смеялась, играя в горелки, качаясь в саду на высоких качелях, дразня кур в курятнике «ку-ка-а-ре-е ку-у-у!» или обучая сестер и братишек арабской грамматике.

– Ой, как ты смеешься! – воскликнул он искренно. – Вы, девушки, словно боитесь смеяться. Как будто у вас зубы сгнили во рту. А ты так смеешься! Сидел бы да слушал.

«Он даже не хочет в лицо посмотреть! – Она вдруг обиделась. – Что он? Монах?»

И вмиг перестала смеяться, вздохнула.

– Ах, Пьеро, мне душно! – сказала она. – Сейчас задохнусь и помру, вот увидишь!

– Тогда я помру с тобой вместе, красавица. – И он снял платок с ее светлых волос.

О как она нежно, лукаво, загадочно ему улыбнулась!

– Послушай, – сказала она, улыбаясь. – Неловко сидеть, ноги-то затекли. Давай лучше ляжем с тобой, поболтаем.

– Какая ты умная, смелая! – И он задохнулся. – С тобой так легко!

«Он что, так и будет лежать? – Катерина слегка закусила губу. – Ишь какой! Ни поцеловать, ни раздеть, ни потискать!»

И бархатный свой локоток подложила под голову.

«Она – *prostituta*, продажная женщина! – подумал он быстро. – Отец меня предупреждал, что в деревне одни *prostitutes*!»

– Откуда ты взялся? – спросила она.

– Скачу из Флоренции в свое родовое имение Винчи. Венчание завтра и свадьба.

– Чья свадьба?

– Моя. – Он опять задохнулся. – Женюсь я.

– Ах женишься! – И Катерина вскочила. – Ну так убирайся отсюда! Он женится!

Горячие крови две, русская кровь и азербайджанская, в ней закипели, она оттолкнула его и, царапая лицо о шершавые листья, рванулась прочь от несвободного парня.

– Куда? – Он тоже вскочил, как безумный, схватил ее за руку и опрокинул на влажную землю. – Я не отпущу!

– Ах ты не отпустишь? Так я закричу!

– Кричи. – Он зажал ее рот поцелуем. – Кри...

Стало тихо. Внутри винограда дышало и билось огромное что-то. Наверное, ангел, упавший с небес, запутался в этом земном урожае и, весь уже сладкий и пьяный от сока, пытался взлететь и вернуться на небо.

Они были шумной волной. Опускаясь и снова вздымаясь, она клокотала обилием мелких, соленых существ: рыб, крабов, медуз, – и осколками острых, разбитых ракушек, и громким дыханьем русалок, глядящих, как смертные люди, бесстыдно толкаясь, бесстыдно хватая друг друга во тьме за спину и ниже, где должен быть хвост, не помнят о смерти и не понимают, что каждый умрет в одиночку и с болью.

Слегка розоватое небо раскрылось над спящими. Лицо Катерины светилось. А Пьеро как будто бы вдруг возмужал в эту ночь и даже обуглился, как от удара прерывистой молнии

может обуглиться большое и сильное дерево. Он первым проснулся. Увидел ее, и все задрожало внутри.

«Что мне делать? Уйти потихоньку, пока она спит? А где я потом разыщу ее? Но отец не позволит, чтоб не было свадьбы. И я не могу изменить Альбиере. Она ведь сказала мне, что примет яд, попробуй я только разок изменить ей! Несчастье мне с этими бабами, пытка! Не зря Феррагамо шутил, что спокойнее любиться с женщиной!»

Но тут Катерина открыла глаза. Вы видели небо, почти уже черное, но сохранившее во глубине закатные отблески? Видели это сквозящее золото? Или не видели? Она на него посмотрела, и все. И он тут же лег с нею рядом и снова ее крепко обнял. И снова волна сильных тел поднялась и снова опала. И вновь поднялась, вся пронзенная светом. Я знаю, что это второе – сквозь сон – соитие их, когда солнце дрожало в тугом винограде, и листьях его, и в крепких ветвях, нежно-красных, и где-то, вдали, тоже розовый весь, еще неуверенный в силе петух пытался запеть, я знаю, что сын их зачат был тогда, в утро.

Вы спросите, может быть:

– А почему?

И я вам отвечу:

– А вы посмотрите на все, что он сделал, на все, что оставил он вам, чадам праха и праздным обломкам ленивых отцов! Полотна его разглядите как следует. Вы видите свет? Неужели не видите?

– Мне нужно спешить, – прошептала она, – сейчас сюда люди придут, ненаглядный.

– О Господи! Мне тоже нужно спешить! – воскликнул он. – Свадьба! Я чуть не забыл!

Из глаз ее хлынули слезы.

– Не плачь! Я быстро женюсь и вернусь к тебе сразу!

– Ребенок ты, Пьеро, – сказала она. – Какой ты ребенок еще, прости Господи! Жена тебя будет держать при себе, булавками к юбке пришьит!

– А я, – придумал он быстро, – а я навру ей, что мне на охоту пора, и сметаюсь!

– Охоту?! Она скажет: «Миленький мой! И я на охоту! Я не помешаю! Зато, когда мы с тобой, сердце, вернемся, я вышью подушку тебе «Муж да Винчи с женой на охоте. А также с собаками». Хи-хи-хи-хи-хи!»

Она так смешно это изобразила, таким отвратительным, приторным писком воспроизвела ему голос невесты, которой к тому же ни разу не видела, что он сразу остановился как вкопанный.

– Нет, я от тебя не уйду, Катерина. Ты чудо какое-то. В жизни не видел я равных тебе. Вот клянусь: никогда!

– Послушай! – сказала она. – Я все знаю. Я знаю, какая у нас будет жизнь. Ты женишься, Пьеро, покинешь меня, но каждую ночь в своих снах, милый Пьеро, ты будешь садиться на лошадь, и в дождь, и в снег, и в бурю с ураганом ты будешь нестись что есть сил в виноградник, ты будешь скакать, опустив капюшон, и только луна, освещающая дорогу, поможет тебе. Больше никому, Пьеро. А я буду ждать тебя здесь, ненаглядный. Не спрашивай, как я сюда доберусь. Ползком, если буду старухой. А если ослепну, сынок наш, надеюсь, меня приведет.

– Откуда сынок? Чей сынок, Катерина? – Он сразу стал красным и жалким.

– Смешной человек! Наш сынок, ненаглядный. Он будет у нас. Я уже это чувствую. А ты не робей. Если хочешь жениться – женись на здоровье. Я справлюсь, не бойся.

– Да как же? Одна, без поддержки...

– Иди, я сказала! И поторопись.

Она поднялась во весь рост и застыла. Набросила мятый платок на лицо и выпростала из своих одеяний лишь руку, движеньем которой, столь властным, что Пьеро весь сжался, ему приказала, чтобы он покинул ее. Он ушел. И лошадь, вся влажная от длинных капель упавшей росы, заржала бархатисто, когда он вскочил на седло и почувствовал, что то возбуждение,

которое вызвала во всем существе его светловолосая, чудесная женщина, не утихает и будет мешать ему в бешеной скачке.

Оставшись одна, Катерина объела тяжелую гроздь винограда, утерлась и заторопилась в селенье. В ее голове вырос план.

Сейчас я оставлю мою героиню, вернусь в опустевшую спальню ее, куда ровно в полночь вошел, в черной шляпе, стуча каблуками, патрон. Не подозревая о бегстве любимой, он очень решительно сдернул камзол, уверенный в том, что красавица спит, свернувшись клубочком на пышной кровати.

Его настроение было прекрасным. Дела пошли в гору. Приказчики в Падуе, испуганные, что неделю назад он выпорол их на конюшне, следили, чтобы вся пушнина была на учете и чтобы никто ни кусочка не срезал с собольего личика или хвоста. Народ был трусливый, но жадный. К тому же простые и грубые девки с большими носами, с руками, которыми они убрали навоз и стирали рубашки на речке, вдруг все полюбили на праздник рядиться в меха. Пошла у них мода на желтую белку, на белую крысу, на серого волка, и в праздник вся площадь пестрела, как будто в лесу на поляне устроили пир для диких животных. (Один чужестранец в своем дневнике записал: *«Итальянки в любую погоду одеты в меха. Наводит на мысль, что тела их не держат тепла так, как наши. Весьма подозрительно»*.) Конечно, всем тем, кто работал в цеху и был, так сказать, «при мехах», не терпелось какую-нибудь лысоватую шкурку спереть да продать, а приказчики, думая, что самолюбивый патрон не заметит, набивши карманы отменной пушшиной, слегка только приподнимали ладони, когда проходили контроль в проходной. Однако когда он все это заметил, вредителям очень и очень досталось. Приказчики, менеджеры и бухгалтеры вообще не могли три недели сидеть, а только стояли, как чурки, и выли. Теперь на учете был каждый крысиный обгрызанный хвостик, а серым бобрам, куницам да норкам в момент поступления в цех пришивали специальную бирку и только под бирками их мыли, сушили и шкурки снимали.

Итак, безымянный наш скинул камзол и прыгнул в кровать. Но кровать отпугнула его пустотой: Катерины в ней не было. Он бросился в кухню, где, тоже пустые, стояли котлы, свисали на крючьях копченые зайцы и пахло различными свежими сдобами. И там ее не было. Он заметался. В саду шумел ветер, как будто пытался вдуть в уши его волосатые новость: «Сбежала твоя Катерина, ищи!»

Тогда он пинком разбудил своих слуг, и все поскакали на поиски. Факелы дрожали во тьме и кровавым огнем лизали и землю, и черное небо. Один из его верных слуг напевал старинную песню, которую я сама пою часто, но не до конца. В ней есть вот такие слова:

*И шел я скво-о-озь бурю-ю-ю,
Шел скво-о-озь небо-о-о,
Чтобы те-е-ебя-я отыскать на земле-е-е!*

– Убью, если не замолчишь! – Безымянный наотмашь ударил певца. – Пой эту!

O sole-e-e-e! O sole mio-o-o-o!

И вскоре весь маленький, красно-лиловый от факелов взвод затянул:

O-o-o! So-o-o-le-e! O sole-e mio-o!

Искали всю ночь. Никого не нашли.

– Синьор мой, – сказал ему карлик Фердуно. – Позвольте мне выразить мнение...

– Ну? – отрывисто молвил патрон. – Выражай!

– Синьор мой, она к вам сама приползет. Не стоит округу смешить. Ведь поутру последняя шавка, последняя тварь заметит, как вы, о синьор мой, без шляпы, весь включенный – я извиняюсь, конечно, – не евши, не пивши, забыв обо всем, пытаетесь тщетно найти эту суку, которая, может быть, в этот момент валяется с кем-то в проточной канаве! Где ваша брезгливость, синьор, ваша гордость?

– Ты поговори мне еще, пес плюгавый! – вскричал, не сдержавшись, патрон. – Ужо не тебе бы про гордость-то твякать!

Всегда вот большой человек норовит обидеть какого-нибудь небольшого. Фердуно и правда охоч был до тех, которым до пояса не доставал, и на великанш тратил жуткие деньги. Он знал старым сердцем своим – знал, конечно! – что даже и речь не идет о любви, но стоило только ему примоститься на женском, горячем, большом, как гора, изгибистом теле, рассудок мутился, он плакал, кричал, он зубами впивался в высокие груди, елозил по бедрам, стремился руками залезть в те места, куда, бедный, не доставал другим образом, и как только очередная любовница его покидала, припрятав монетку, он долго лежал на растерзанном ложе, лаская в душе своей воспоминанья об этих счастливых продажных минутах.

И все же слова о проточной канаве имели какое-то действие. Хозяин задумался, скрипнул зубами.

– А что, если впрямь я смешон и нелеп? – сверкнуло в его голове. – Эта девка в лицо мое плюнула, обворовала меня, сперла жемчуг, два платья, которые я ей купил, а может, еще что, я утром проверю, и я на глазах у ничтожных людей, действительно и не по-ужинав даже, ищу ее ночью, как будто она священная чаша Грааля, не меньше!

И он повернул свою лошадь назад. И все лошадей вслед за ним повернули.

Дома ему стало невмоготу. Ее беспорядочно разбросанные по комнате вещи, туфелька с золотой пряжкой, которую она оборонила в ту секунду, когда вечером, после объяснения с ним, бросилась на затканное шелковыми тюльпанами покрывало, да и само это покрывало, хранящее запах ее молодого тела, слегка сходный с запахом свежей травы, колготки ее, вышиванье с иголкой, воткнутой как раз в сердцевину той розы, какую она вышивала все лето, пытаясь найти тот единственно верный багровый оттенок, чтобы эта роза была еще ярче, чем те, что в саду, – о, все вокруг, все – даже ручка дверная и зеркало в раме – полно было ею, и именно это засилье ее, власть этой лукавой улыбки и глаз, немного печальных, загадочных, странных, сводило с ума, а вернее сказать, подталкивало чуть ли даже не к смерти.

Ах, как он напился в то утро! Сапожник так не напивается. И пропотевший от быстрой работы иголкой портняжка, который обычно сильнее сапожника, так не напивается. А он напился. Размякший и пьяный, упал у камина, затылком в золу, и пригрелся, затих. Теплом золотого веселого солнца окрасились стены. Сверкала громада пузатых бутылок, и предков портреты глядели на пьяного с тоскою и страхом: кончается род. Увы, деградация и вырождение! Казалось бы, разве до песни такому? Раздавленному в червяка человеку? Представьте себе, что до песни. До нежной, стыдящейся собственной нежности песни. И он тихо пел «Sole mio», однако в том русском его переводе, в котором пела она, вышивая:

Солнышка мо-я-я-я!
Солнышка лесно-е-е-е!
Где, в каких края-я-я-я-х,
Встретимся с то-бо-о-о-ю?

Глава 5

Свадьба

Ни для кого не секрет, что черноглазые женщины намного смелее, да и безрассуднее, чем голубоглазые. Мои, вот, глаза – голубые, как небо. Поэтому я никуда и не лезу. Зачем? С голубыми глазами вся жизнь моя – тихая, скромная. Проснулась, пошла за водой. В хлеву прибралась, подоила корову, а там уже полдень: обедать пора. Придет муж с покоса: «Давай, накрывай!» Еда вся домашняя, свежая, сытная. Детишки по лавкам: головки кудрявые. Сама их стригу, сама мою по праздникам. Им лишь бы медку с калачом да сметанки. А если поганка свекровь обозлится и мужу накаркает, что я все утро в окошко глядела, соседа ждала, так я придушу ее, ведьму, легонечко.

– Мамаша, – спрошу, – тебе жить надоело?

Она на попятный:

– Дак я ить шутю!

(Я так пошутю тебе, что не проснешься.)

А у черноглазых на всякую мелочь – такое бесстрашие, как у шпионов, которых забросили на парашютах во вражеский тыл. Куда теперь денешься, если твой лайнер домой улетел? Они и рискуют, сверкая глазами. Вот и Катерина решила, что нужно явиться на свадьбу в селение Винчи. А там – будь что будет! Плетьми ли забьют, или в речке утопят, а то в монастырь под далекий Владимир, накрывши до пят клобуком, увезут – на все Божья воля.

Пришла она в это селенье под вечер. Венчанье уже состоялось. В богатом именье шумели, галдели высокие гости. Отец Альбиеры, красивый, сухой, с седыми висками, гордился, как выдал последнюю дочку: за сына помещика и уроженца богатой Флоренции. Стол был необъятен, слуг не сосчитать. Уже кто-то на пол свалился, весь в рвоте, уже чья-то женушка возбродилась на бедного рыцаря и расстегнула на нем все доспехи. Не знаю зачем. Эпоха такая была: Возрождение, никто никого никогда не стеснялся. Вскользнула красавица наша в огромную, распаренную, хуже бани турецкой, дворцовую кухню. Тяжелые запахи кур и свиней, которых коптили все утро (собаки уж так нализались и крови, и жира, что еле брехали), огромных жаренных рыб с головами и рыб безголовых, но нафаршированных, и перепелиных желудков в томате, и замаринованных их птичьих язычков, и черных угрей с чесноком и лимоном ударили в ноздри, напомнили прошлое: ведь и у нее, Катерины, недавно была вот такая же славная кухня! Но здесь-то шла свадьба, и все суетились, толкались, ругались, а многие, будучи пьяными, слабыми, уже не справлялись с простейшей работой. Тогда в суете этой, в неразберихе она подхватила корзину с орехами и мягко всплыла в переполненный зал, похоже на то, как всплывают на сцену плясуны из всеми любимой «Березки». И сразу – к нему с этой полной корзиной! А он сидит, трезвый, усталый, молчит. И рядом жена, молодая, прелестная, с высокой прической, но видно, что ей неловко и стыдно. Она то головку ему на плечо, то ручку на шею, то бархатной ножкой нажмет на колено его под столом, он – как неживой, даже не усмехнется. Тут сваха Исикия встала, шатаясь, и, руки сложив красным рупором, крикнула:

– А ну, молодые, вино-то горчит!

И все подхватили:

– Горчит! Ох, горчит!

Они поднялись. Положили на плечи друг другу холодные бледные пальцы. Уста их раскрылись, готовые слиться. Все замерли. У Катерины корзина с орехами сразу упала, и грохот, похожий на то, как грохочут слетевшие камни в Уральских горах, впитал в себя мертвенный звук поцелуя.

– Вот руки кривые! – сказала с досадой какая-то женщина в белом берете. – Таких не к столу брать, а только в коровник!

Но Пьеро, скосивший глаза от жены, которая всем своим милым лицом уже прижималась к лицу его, вздрогнул: она, Катерина, была в этой зале. Стояла, румяная, незащищенная, струились по круглым плечам ее волосы, те самые волосы, чей слегка пряный, слегка травянистый и ягодный вкус он чувствовал ночью, когда они спали на влажной земле, обнимая друг друга. И так же, как утром, она посмотрела лукавым, печальным, загадочным взглядом.

Кажется, все, что изложено с многочисленными отступлениями, поправками, противоречиями и неточностями в первой части рукописного памятника «Сады небесных корней», обнаруженного в одной из пещер под Миланом, попавшего в жадные руки искусствоведов и все же осевшего после усилий на этом столе, я перевела на родной мне язык, проверила факты. Не скрою, что это тяжелый, да, очень тяжелый был труд – многолетний, отвлекший меня от писательских будней, с лихвой окупавших лет двадцать назад безбедное существование мое. Однако и выбора не было. Лучше смириться с нуждой, но работать для Вечности. Говорю я это вот к чему: вторая и третья части спасенного мною от коррупции рукописного памятника пережили пожар, случившийся несколько месяцев назад в доме, полученном мной по наследству и оказавшемся, к сожалению, совершенно не пригодным для жилья. Не вдаваясь в подробности, я могу сказать только то, что в одной из труб этого старого и почти развалившегося дома загорелась сажка, пламя охватило сначала спальню, потом гостиную и, наконец, овальный зал, где я и расположила перевезенную из прежней квартиры библиотеку. Вернувшись вечером, я убедилась, что благодаря усилиям соседей все почти книги были спасены и серьезно поврежденными оказались только вторая и третья части уникальной пещерной находки. Задача таким образом усложнилась: мне нужно не только восстановить обугленное, но и усилием собственного воображения заполнить те уничтоженные куски текста, которые не поддаются восстановлению.

Читатель простит мне все шероховатости.

Глава 6

Отец и сын

Носила легко. И сама удивлялась: живот был большим, а сынок беспокойным. Ночами особенно. Она ничего не боялась: ни мелкие волки, ни лисы, живущие в овраге за домом, ее не пугали. Она тосковала по Пьеро. Отец же его приходил к ней частенько. Подолгу сидел у нее, разговаривал. Хотел расколоть ее душу, разгрызть, как орех. Она ничего не скрывала. К тому же теперь ее жизнь и жизнь сына, который был должен родиться вот-вот, зависели от старика. Это он купил ей заброшенный дом у оврага и нанял двух слуг. Она догадывалась, что он знает все. Но планов его она не понимала, поэтому и волновалась все время.

Она иногда замечала, что статный да Винчи глядит на нее с мучительной, неподобающей страстью, и часто ловила вдруг быстрый, бесстыдный блеск черных зрачков, обведенных кольцом, подчас почти розовым от возбуждения. Но он себе не позволял ни намека.

Однажды, в конце марта, из Флоренции явился вдруг Пьеро, солидный нотариус. Совсем молодой еще, но просвещенный.

– Соскучился я, – сказал он печально. – Не клеится жизнь. А ты изменилась: высокая, толстая. Но мне все равно. Хочешь – дальше толстей.

– А я не толстею. Я плод твой ношу. – И ноздри раздула.

Он вяло кивнул.

– Вот я и сказал, что толстеешь от этого. Но только на свете нет женщины лучше. Ты приворожила меня, Катерина.

Они обнялись, и она, задышавшись, подула на свечку.

Отец же пришел как всегда: ровно в полдень, с деньгами на жизнь.

– Послушай, – сказал ему жестко отец. – Кого ты оставил в конторе?

– Там брат Альбиеры, он мне помогает.

– Ты хочешь, наверное, чтобы все мы – и будущий сын твой – лишились того, что я накопил неустанным трудом?

– Нет, этого я не хочу, – сказал Пьеро.

– Тогда не таскайся сюда, а работай!

– Но ей совсем скоро рожать, – сказал сын.

– Старайся, чтобы Альбиера твоя, в конце концов, тоже припухла, как все замужние женщины. Зачем она ходит с пустым животом?

– Не знаю, отец.

– Не стараешься, сын.

– Стараюсь, отец! Но когда я ложусь, мне словно всю кровь заменяют на воду...

Отец на него посмотрел очень зорко.

– Ты больше не должен являться сюда. Когда Катерина родит, ты получишь письмо от меня.

– Я увижу сына?

– Увидишь, но только не сразу. Пускай он слегка подрастет, а потом приедешь, его забереешь во Флоренцию.

И тут Катерина, с ее животом, вскочила и кинулась к ним в чем была.

– Никто его не заберет у меня! – вскричала она по-арабски. – Никто!

Они побледнели, а Пьеро схватился рукою за свой подбородок.

– Ну вот. Так и знал, – молвил старший да Винчи. – Однако мне кажется, ты не арабка.

– С Кавказа я, – тихо сказала она.

– Черкешенка? – он удивился. – Из Грозного? Я слышал, что город уже восстановлен. Надыр постарался.

– Нет, я не черкешенка. – Она чуть не плюнула на пол. – Черкесы – народ нам чужой, неприятный.

– А, эти межнациональные распри! – вздохнул он устало. – Вот кажется: Богом забытые земли! Кто знает какой-то Кавказ, ну скажите? Что там? Поголовная необразованность и детская смертность. А что там еще? А я вам скажу, что еще: войны, войны... Но что они делают? Овец своих? Женщин? Я слышал, что женщины их отличаются чудовищною волосатостью. Правда?

Она обнажила почти до локтя свою золотистую крепкую руку.

– Где волосы? – тихо спросила она. – Найди хоть один.

– Так ты исключение. – Он вздохнул снова. – Я был женат трижды, и все мои жены страдали от сильной своей волосатости. Конечно, когда это кудри в прическе, то очень красиво, но ноги, живот! Разденешь, бывало, – эх, чисто зверюга! И чувство мое не держалось к ним долго.

Он вяло зевнул.

– Что ты, Пьеро, молчишь?

– Зачем ты смеешься над нами, отец?

– А что же мне, плакать? Ты, сын, в утро свадьбы своей повстречался с какой-то девицей. Девица, конечно, тебя совратила. Потом ты явился, чтобы обвенчаться с законной невестой. Девица меж тем стала нагло ловить тебя, простодушного юношу, всюду. Проникла на свадьбу. Тут я растерялся. Отдал тебе бизнес: контору, клиентов. И дом во Флоренции. А сам живу скромно, на хлебе с водой. Вино позволяю себе только в праздники. Зато содержу здесь твою эту женщину, поскольку в утробе ее мой внучок. Он будет носить наше имя: да Винчи. Ах, чуть не забыл! У тебя есть фамилия?

– А то! – Катерина немного зарделась. – Фамилия есть. Абдуллаева я.

– Какая же это фамилия, Господи!

– Отец, перестань! – попросил его Пьеро.

– Да что «перестань»! Перестану когда-нибудь. Пробьет и мой час. Но поскольку вы оба беспечны, бездумны, одним озабочены: валяться в кровати, задрав ноги кверху, крича, как ослы, от животных восторгов, – я вам заявляю сейчас мою волю. Во-первых, придется расстаться вам, милые. Родины пройдут хорошо: Варенуха еще и тебя принимала, сынок. Она знает дело не хуже, чем лекарь. Пять лет внук мой будет при мне и при матери. Потом он уедет с тобой во Флоренцию. И там ты, сынок, его выведешь в люди. Поскольку, скорее всего, к тому времени меня в этом мире, по счастью, не будет.

– А где же вы будете? – И Катерина, пылая лицом и раздавшейся грудью, взмахнула рукой. – В раю и без вас обойдутся, мне кажется!

Старик помолчал.

– Ох уж этот мне Данте! Испортил народ! Ведь читать-то никто его и не читал. Должно, нудно. За год не осилишь. А люди боятся. Поверили, что он *там* был и вернулся. Обманщик. Поэт, одним словом! А скоро, глядишь, и поставят обманщику памятник.

– Не верю я вам, – прошептала она. – Дитя не отдам. Через труп мой отымете.

Взяла Пьеро за руку и положила его пятерню на свой круглый живот.

– Толкается, слышишь?

И оба родителя, счастливо смеясь, стали слушать, как сильно толкается сын их внутри своей матери.

– Ногой, что ли, пнул? – уточнил он.

– А чем же?

– Да полно ребячиться вам! – возмутился сердитый да Винчи. – Даю вам пятнадцать минут попрощаться, и чтобы ты больше сюда не являлся! Иначе наследства лишу, а в контору вернусь прямо завтра! И делай что хочешь. Привел, понимаешь, арабку в семью!

– Я вам не арабка. – Она усмехнулась. – Наш род-то почище, чем ваш. Скота у нас больше. Дороги пошире.

– Ну вот и пасла бы свой скот! – Он, сутулясь, шагнул за порог, стукнул дверью. – Я жду. Их прощание сохранилось на страницах рукописи. И я привожу его полностью.

«Катерина смотрела прямо перед собой остановившимися глазами.

– Предашь ты меня. – Она всхлинула тихо.

Но он перебил:

– Ты не знаешь отца. Раз он пригрозил...

– Ах, пустое, пустое! – Она отмахнулась. – На то мы и люди: друг дружке грозить. Другого пугнем, самим легче становится...

– Но я, Катерина, клянусь: никогда... – Он что-то промолвить хотел, но осекся.

Она тяжело подтянулась всем телом, нотариуса обхватила за шею – да так, что огромная шляпа из меха с зеленым велюром упала с затылка – и прямо в глаза прошептала отрывисто:

– Ты помнишь, как сказано про петуха?

– Какого еще петуха?

– Как какого? Ведь Он сказал так: «В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». И с нами вот так же случится, мой милый. Ведь люди всегда предают самых близких.

– Но только не я! Катерина, не я! – воскликнул он пылко.

Но снова она усмехнулась той самой, никем еще не превзойденной усмешкой».

Теперь мне придется продолжить самой.

О чем-то она попросила его, и он согласился.

– Конечно! – сказал он, целуя ее. – Конечно, исполню. Какие проблемы?

После его ухода Катерина, оставив все, как было, неубранным, накинула на голову длинный, почти все ее располневшее тело спрятавший платок и, нарочно сгорбившись, чтобы не быть узнанной, заторопилась к Инессе мелкими, заросшими первой травой дорогами.

Глава 7

Монахиня

Никто, ни один на свете человек, не знает того, что произошло в низком, со скошенным потолком и расписными ставнями домике Инессы. Известно только то, что плачущая горько и одновременно благодарно Катерина вышла на крылечко и без сил опустилась на нижнюю ступеньку, прикрывая черным платком распухшее от слез лицо. Следом за ней выпрыгнула маленькая, острогорбая, с седыми волосами и пронзительно синими, не знающими старости глазами Инесса и протянула ей мешочек, остро, но приятно благоухающий сухими травами.

– Как схватки начнутся, так сразу заваривай, – негромко сказала Инесса. – Родится здоровый, родится красивый, не бойся. И ты не помрешь. Проси Богородицу, плачь и проси.

– Скажи мне, Инесса, ведь вот говорили, что сжечь тебя нужно и пепел развеять. А я тебя всем своим сердцем люблю.

– Да что тебе люди! – пропела Инесса. – Мешки с требухой да с костями, и все. Не верь мужикам, Катерина, они хуже баб. Кидаются, псы, в нашу женскую мякоть, грызут да урчат. А после отвалятся, все позабудут. Вот сын твой родится на радость тебе, его береги... Я знаю, что он не из этой породы.

– Боюсь я, Инесса. Отнимут его.

– А спрячешь как следует, так не отнимут. Детей прятать надо и в мир не пускать. Там все – гниль одна. Толстокожие боровы и те благородней людей. Не сравнить!

– А где же мне спрятать его? Все открыто.

– Ищи себе место.

– Так, кроме утробы моей, нету места. Я вот иногда, как закрою глаза, так вижу его, и тебя, и себя в каком-нибудь тихом, затерянном гроте... И так хорошо нам втроем, так спокойно! И смерть не страшна.

– Да где ты здесь грот-то найдешь, Катерина? А смерти не надо бояться. Что смерть? Она нас и спрячет.

– Смерть спрячет? Куда?

– Ну, плоть нашу грешную в землю опустят, и станет она тоже прахом земным. А души вернуться к Нему, Катерина. Чего там бояться? Пугливы уж больно.

Глаза ее вдруг почернели.

– А мы все бежим от нее, все спасаемся! Зовем докторов, деньги платим бездельникам. Как будто хоть час отторгуем себе! Вот так же и я. Сердцем все понимаю, а тоже ведь ушки держу на макушке. Хотела зимой вон в Севилью податься. Хорошее место, продукты дешевые. А после узнала, что всех ведьм в Севилье пожгли до единой. Собрали на площади и говорят: «Пособие будет вам, хлебные карточки, а в третьем квартале квартиры получите». Они как давай бесноваться от счастья! А их на костер и пожгли всех, дурех. Одна Хромоножка Лизетта осталась. Она их и выдала, стерва косяя. Теперь ни о чем не прошу, лишь бы жить. Бездомная беженка, сколько мне нужно...

Катерина спрятала мешочек с травами в рукав и, чувствуя нарастающую тяжесть в низу живота, отправилась домой. Дружба с Инессой многому научила ее. Она была одной из немногих, кто знал грустную, однако весьма поучительную историю горбуни.

Происходившая из весьма обеспеченного семейства маленькая красавица Инесса, будучи восьми лет от роду, перенесла тяжелую болезнь, в результате которой впала в непрерывный глубокий сон. Ни врачи, ни молитвы не помогали. Мать ее, исплакавшая все глаза от вида крепко спящей и ни на что не реагирующей дочери, в конце концов стала сама чахнуть, таять, да и умерла, приклонившись седой своей головой к кровати ребенка. Отец, сразу заново помо-

лодевший, поспешно женился, родил себе кучу детей, смазливых и смуглых, а к спящей красавице приставил прислужницу, женщину строгую и благочестивую. Началось с того, что эта самая прислужница стала замечать по ночам, что доверенное ей дитя тихо откидывает полог, тихо подымается с кровати и, не раскрывая глаз, осторожно ходит по комнате, бормоча что-то и изредка вскрикивая. Вслушавшись в то, что произносила спящая, прислужница, на беду оказавшаяся грамотной, записала ее слова и на исповеди показала листочки исписанной бумаги своему духовнику.

Духовник так и остолбенел, прочитав следующее: «Если бы Ты был во мне, во мне должна была бы быть такая радость, что я не вынесла бы ее, оставаясь в живых». Или вот такое, например, признание: «Если мне уготован ад, то лучше скорее погрузи меня в эту бездну, но только не оставляй вниманием Своим». И, наконец, последнее, отчего святой отец едва не лишился рассудка: «Видела я страшные раны Твои, и не телесными глазами я видела их, а чувствовала внутри собственного сердца, и когда душа моя приблизилась к этим ранам, губы ее прикоснулись к ним, и омылась она вся Твоей кровью...»

Испуганный священнослужитель явился в указанный прислужницей дом и долго смотрел на спящего ребенка, длинные ресницы которого отбрасывали голубоватую тень на нежно-фарфоровые щеки, а маленькие, худенькие, как лапки у птенчика, руки были молитвенно сложены на кружевной сорочке. Отец Инессы присутствовал тут же, тишечно пытаясь придать раскормленному и радостному лицу своему духовное выражение.

– Дон Карлос, – промолвил священник. – В вашем достопочтенном жилище находится ангел. Ребенок не просто так спит. Она пребывает в Господе Боге нашем, который, заботясь о ней, неустанно душе ее шлет откровения Свои.

– Ах, так я и знал! – воскликнул дон Карлос. – Вы мне не поверите, но после свадьбы моей с ее матерью я сразу понял, что это дитя, которое вскоре родится у нас, и будет подобием... Проще сказать, подобием чистого, так сказать, ангела...

И тут он запнулся, поскольку священник сурово взглянул на него.

– Любезный, я вас не просил объяснять духовному сану, что здесь происходит. Забудьте, что этот ребенок – вам дочь. Отдайте ее в монастырь.

– В монастырь! – воскликнул дон Карлос. – Как так в монастырь? Она же не ходит!

– А это неважно, – отрезал священник. – Народ распустился, и вера шатается. А мы явим чудо. Вот эту вот девочку. Поскольку на то, что оно совершилось, была Божья Воля.

– «Оно» – это кто? Извиняюсь, конечно... – Отец растерялся и весь пропотел удушливым потом.

– «Оно» – это чудо. Да вы промокните. Возьмите салфетку, попейте воды. Что с вами, любезный?

– Так вы, что ли, вместе с кроватью возьмете?

– Возьмем и с кроватью. Приставим к ней слуг. Народ допускать будем строго по праздникам. Не всех. Только не согрешивших в течение трех месяцев. И этим проложим пути к исправлению.

– Прекрасная мысль! Бесподобная мысль! Вот так, значит, всех постепенно исправим... А то ведь одни развлечения, корриды... А платья какие пошли! Все наружу! – Дон Карлос с размаху обтерся манжетой.

На следующее утро кровать со спящей Инессой была перевезена в помещение монастыря, и сразу же начались непредвиденные события. Во-первых, Инесса проснулась. Она не проснулась до конца, но стала шептать, не раскрывая синих глаз своих, настаивая с горечью на том, что душа ее возвращается в тело и нет больше сил воспротивиться этому. Потом она села на скромной кровати, себя самую обхватила за плечи и горько расплакалась, глаз не раскрывши. Сама настоятельница, женщина с большими оранжевыми веснушками и густыми волосами,

еле-еле помешавшимися под монашеским колпаком, прибежала из своей кельи, тяжело ступая на пятки и распространяя вокруг себя запах недавно выпитого ею свежего пива.

– Что здесь происходит с ребенком? – спросила она.

Испуганные послушницы ответили, что девочка плачет, не переставая, и жалуется, что душе ее бедной пора возвращаться в ненужное тело.

– Оно, может, даже и лучше, – подумав, ответила настоятельница. – И пусть возвращается. А то нам паломники эти здесь все разнесут.

Она грубовато погладила Инессу по голове и велела послушницам накормить ее хотя бы даже и силой. Инесса слегка разомкнула ресницы, поела похлебки с горохом и тыквой, умяла кусок пирога с дикой грушей и снова уснула, но только не прежним, мистическим сном, а детским, простым и спокойным. С этой минуты закончилось то странное состояние, в котором она пребывала без малого семь лет. Очень хрупкая девушка с пепельной косой, аккуратно закрученной на затылке, решила навсегда остаться в стенах монастыря и всецело посвятить себя Богу. Нельзя не признать, что душа ее, хотя и вернувшаяся в тело, продолжала страстно стремиться к Христу, которого она иногда по-прежнему видела во сне. Она знала, что никого из живых людей не сможет полюбить той восторженной, всю ее прожигающей любовью, которая есть любовь к Божьему Сыну, принявшему смерть на кресте. Нравы монастыря приводили ее в ужас. Вместо того чтобы смиренно молиться и ограничивать себя во всех мирских желаниях, послушницы опаздывали на утреннюю службу, заводили у себя в кельях маленьких собачек, а одна из них – очень высокого происхождения девица, поступившая в монастырь исключительно для того, чтобы досадить семье, – завела капризную обезьянку, похожую на нее саму до такой степени, что их иногда принимали за сестер.

Но это-то все полбеды. Настоящая беда заключалась в том, что монахини не только не избегали мужчин, под видом которых проклятые бесы стремились столкнуть их в пучину греха, но очень, напротив, искали возможности с проклятыми бесами где-нибудь встретиться. Случались, конечно, ужасные вещи. К примеру, беременность. Это несчастье всегда прерывалось кровавейшим образом. В густых плотных сумерках – лишь погружались во дрему поля и леса – появлялась в прихожей засушенная, с сизым, грубым лицом, весьма неприятная женщина. В сумке ее что-то звякало жалостно.

Настоятельница всегда сама встречала ее в этой прихожей, гневно горя глазами, вела за собой в келью, где простоволосая, в грубой сорочке, ждала наказания грешница. Дверь плотно притворялась, всем остальным было велено стоять на коленях и просить Господа за невинно убиваемую душу. Молились громко, чтобы заглушить резкие вскрики и мычание, доносящиеся из-за закрытой двери, а через полчаса выходила, пряча глаза, палачиха с окровавленными пальцами, и мать-настоятельница сама поливала ей из кувшина на эти кровавые пальцы.

За стенами монастыря был глубокий черный ров, заросший крапивой. Там, как говорили, водились и змеи, укусы которых смертельны. И там же валялись куски сгнивших ножек, куски сгнивших ручек, головки с пустыми глазницами. Деточки, невинные души, бессмертные ангелы...

О дальнейшей судьбе монахини весьма подробно сказано в «Садах небесных корней», так что я с большим облегчением возвращаюсь к скромной роли рядовой переписчицы.

«Старик Иннокентий Пизанский, капеллан, известный своим изумлявшим современников голосом, в котором сочетались мужское и женское начала, так что он мог с легкостью переходить от бархатного сопрано Мариш Каллас к раскатистому басу Лючано Паваротти, скончался в ночь перед Рождеством. Стоял адский холод: три градуса ниже нуля – и ангелы сразу закутали душу своим серебрившимся пухом, которым богаты их крылья, помчались с ней вместе к Престолу Всевышнего.»

Грустно прошли праздничные дни в стенах той скромной обители, в которой коротала свои дни Инесса. Бывало, придет Иннокентий Пизанский, седой старичок неказистый, к заутрене, расставит монахинь по росту и голосу, и тут начинался хорал за хоралом, хорал за хоралом! За окнами птицы смолкали от зависти. И вот: схоронили, поплакали вдосталь, хотя настоятельница и бранила: мол, он теперь там, где ему быть положено. Жил чисто, поэтому умер внезапно, нисколько не мучился, не испугался, а нам с вами все предстоит, и слезами не многого, девы, добьетесь, учтите.

Отстояв, как положено, все службы – утреннюю, в два часа утра, дневную – в шесть часов утра и вечернюю – в восемь часов вечера, тоскующие монахини пытались развеселить себя как могли. На радость девушкам выпал густой и сухой снег, так красиво вспыхивающий под лучами солнца, что трудно было удержаться от изумления при виде его красоты. Живущий в каморке при бане Андрюха, в обязанности которого входило к тому же привозить в монастырь бочки с водой из хрустальной чистоты незамерзающего источника, за час справил розвальни, выложил их хрустящей соломой, рогожской прикрыл и, крикнув по-польски: «Цож, дывчины, кочмэ! (Ну, девки, поехали!)», уселся на крепкие сани и съехал с горы, хохоча так задорно, что горы ответили эхом. Сперва нерешительно, а вскоре и смело монахини одна за другой подходили к саням, усаживались на приятно покалывающую их голые ноги соломой и, ахая, катились по снегу, как будто они совсем не невесты Христовы, а дети, к тому же крестьянские дети, простецкие.

И тут появился мужчина. Сперва он был темным предметом в густом сверкающем снеге. Никто – среди смеха, веселья и оханья – его не заметил. Но вскоре предмет этот ожил. Тогда они и разглядели, что это – мужчина, весьма молодой, интересный собою, хотя чересчур горбоносый на строгий монашеский вкус. Ему не понравилось то, что монахини катаются в санках с лохматым Андрюхой, и он очень сухо спросил на латыни, где можно застать в этот час настоятельницу. Переглянувшись, они вытолкнули вперед хрупкую Инессу, которая в совершенстве владела многими языками, включая латынь. Случилось же это так необъяснимо, что и пересказывать даже неловко. Прослав восемь лет, как мы знаем, дитя проснулось не только девицею взрослой, но крупным ученым-лингвистом, который любой из земных языков знал так, будто это язык его матери.

– Et quiescit (Она отдыхает), – сказала Инесса.

– Могу я увидеть ее? – спросил он язвительно на диалекте испанских моравов.

Но тут уж в беседу включились все сразу, и словно прорвался слой толстого льда: монахини, перебивая друг друга, взялись объяснять, что и как, но при этом еще умудрялись и глазки состроить.

– Рассердится матушка, если разбудят! Они, если их разбудить, всегда злые. А после добреют. Как пива попьют да и вслух почитают святую молитву, так просто добрей, чем они, не бывает.

– Что вы говорите? – вскричала Инесса. – Они всегда добрые! Сон же им нужен, поскольку во сне люди к Богу стремятся, и Он к ним во снах даже может явиться.

– Ах, да вы не слушайте эту сестру! – монахини вспыхнули в негодовании. – Сама восемь лет проспала, лежебока, теперь всех готова в кровать уложить!

Горбоносый путник, до бровей занесенный снегом, с интересом посмотрел на худенькую Инессу и опять перешел на латынь, явно стремясь к тому, чтобы остальные не поняли их разговора.

– Давно вы в обители?

– Нет, я недавно.

– А что это вы столько спали, сестра? Одна или с кем?

Наивная девушка, и не поняв намека, скабрзного и неприличного, ответила с пылкой детской открытостью:

– Одна, разумеется! Матушка умерли. А батюшка сразу женились. Господь меня в сон погрузил.

– Интере-е-есно, – сказал он задумчиво.

– А вы, извиняюсь, откуда идете? – спросила она.

– Сначала монахом был в монастыре, а после скитался по свету. Учился. Я врач, хотя курса еще не закончил. Особую склонность питаю к различным химическим опытам. Вы не пугайтесь! Наука такая есть. И простирает она свои руки к делам человеческим. У вас капеллан здесь скончался, я слышал?

– Скончался, – она погрузилась.

– Сказали мне в монастыре, чтобы я себя предложил вам сюда в музыканты. Играю свободно на всех инструментах. Пою, но немного, сорвал себе связки. Холодного пива попил после бани.

– Мы тоже пьем пиво, – сказала она. – На завтрак у нас полагается пиво и хлебец ржаной. Мы сами печем. И мед сами делаем. Здесь хорошо. Хотя сестры все-таки очень скучают.

– А вы? – И он впился глазами в Инессу.

– Ах, что вы! Как можно скучать? Ведь молитва должна заменять собой все! Я ночью, бывает, проснусь от тревоги, окошко скорей отворю, чтобы ангелы меня в темноте разглядели, и сразу молиться! Молюсь и молюсь. И так хорошо на душе, так отрадно!»

На этом слове, к моему огорчению, сведения о жизни Инессы в манускрипте обрываются, поэтому я закончу рассказ таким образом, который представляется мне наиболее логичным.

Горбоносый врач, не закончивший курса ни в одном университете, однако утверждавший, что брал уроки химии и медицины у самого Хьюго Луко, который умел производить операции на теле, предварительно усыпив больного с помощью так называемой «снотворной губки», секрета которой он никому не выдавал и только перед самой смертью признался, что в составе усыпляющих средств главную роль играла обыкновенная лесная ежевика, – так вот: горбоносый этот врач, получивши должность капеллана, действительно поселился в монастыре, но не там, разумеется, где жили монахини, а вместе с Андрюхой, в камерке Андрюхиной, где было всегда так натоплено сильно, что даже паук, угнездившийся в бане, заполз как-то раз и, не выдержав жару, свалился и умер. Туда и дорога.

Слова синеглазой румяной монахини о том, что она открывает окошко, желая быть сразу замеченной ангелами, ему так понравились, что после святок он тихо залез к ней в окошко и живо в объятиях сжал ее так, что девушка чуть было не померла. Поначалу она, как водится, приняла его за дьявола и хотела прогнать с помощью крестного знаменья, но вскоре узнала врача и толкнула так сильно в ключицу, как только смогла. Напрасно! Он взялся ее целовать, и монахиня, которая не представляла себе, что кто-нибудь, с запахом пота, похожим на запах стоваренного хлеба, вдруг станет ее целовать прямо в губы, вдруг вся обессилела и присмирела. И ведь до чего же бывают коварны проклятые бесы! Не зря настоятельница велела, чтоб спали все вместе и не раздевались! Они все и спали на досках в огромной холодной прихожей, в пальто и ботинках. Поскольку им *всем* она не доверяла. А *этой* доверила. Вот и пожалуйста.

Катерина с первых дней привыкла во всем советоваться с Инессой, чувствуя, что та, женщина немолодая, испытавшая в жизни и нужду, и немыслимое богатство (о чем пойдет речь!), говорит с ней как с ровней и словно глядит в ее душу.

– Ты добрая, чистая, горя хлебнула, – шептала Инесса. – Тебя выбрал Бог. И сына тебе Он пошлет не такого, какого другим посылает. Ты жди.

Задушевные их беседы обычно происходили вечерами в маленьком, слегка покосившемся домике Инессы, и начались они вскоре после того, как Катерина поселилась у меховщика.

– Скажи мне, Инесса, – немного смущаясь и глядя, как ловкие руки подружки раскатывают бело-снежное тесто, просила ее Катерина. – Он ведь соблазнил тебя, этот доктор, а ты на него зла не держишь. Ведь так?

– За что же мне зло на него вдруг держать? За то, что он, бедный, меня возжелал? Так ведь я сама вся томилась. Мы, женщины, – животные, раненные в живот.

– Ох, что ты, Инесса! В какой там живот?

– Один живот, милочка! А вот ты ответь: любовь эту подлую как узнают?

– Не знаю я как.

– По щели, и все.

– Какой-такой щели?

– Которая вдоль.

– Чего она вдоль?

– Всего тела, милочек.

Многие слова Инессы звучали загадочно, но самой загадочной была та часть ее жизни, которая началась после монастыря. Тут сама Инесса начинала как-то елозить, проглатывать слова и не на все вопросы отвечала. Если верить ее рассказу, то горбоносый врачеватель еще раз одиннадцать влез к ней в окошко, открытое не для того, чтобы ангелы ее разглядели в густой темноте. И вдруг он исчез. Дойдя до этого момента, Инесса всякий раз начинала злобно плакать и даже слегка скрежетала зубами. По ее версии выходило, что он исчез только потому, что мать-настоятельница начала косо поглядывать на согрешившую монахиню и вскоре могла наказать по всей строгости.

– А что же они могли сделать с тобой?

– Схватили бы, голую, дали бы плетку. Потом на бревно, на мороз. И сиди. А как начнет колокол бить, так ты плеткой себя и стегай по спине. Да крепко стегай, чтоб рубцы оставались!

– И сколько стегать?

– Ну, уж это как скажут. Одна настоятельница и решает. А чаще всего у самой этой грешницы как будто рассудок мутится. Стегает она и кричит от восторга.

– Кричит? Что кричит?

– Никогда не поверишь! «Не больно! Не больно! Сильнее хочу!» Хохочет при этом и рожи всем строит.

Катерина осеняла себя размашистым крестом. Казалось, что у нее нет ни сил, ни охоты расспрашивать дальше, но молчание продолжалось недолго:

– Так он потому и сбежал? Спас тебя?

Тут Инесса отводила глаза и так яростно начинала месить свое тесто, словно это была жирная спина неизвестного врага, который наконец-то оказался у нее в руках. При этом она говорила негромко и как-то нарочно рассказ замедляла.

– Я через три дня сама сбежала. И так объясняю тебе, Катерина: если женщину один раз на плотскую любовь соблазнить – один всего раз, – она этим ядом на всю жизнь отравлена. И кровь в ее теле отравлена. Уж лучше такую совсем умертвить! Сбежала я, до мужиков дорвалась!

– Не стыдно ли было тебе? Ты – монахиня! Ведь это же грех!

– Грех, конечно. А я ведь вся грешная. Вот ты ко мне ластишься, милочка, льнешь, а хоть бы спросила: «Инесса, за что тебя ведьмой считают?»

– Какая ты ведьма!

– А кто меня знает? Люблю черноту. И ночь почернее, и черную воду. Зачем я все это люблю? Кто мне скажет? А знаешь ли ты, Катерина: однажды пришли к Богу ангелы, и среди ангелов пришел сатана?

– И что? – Катерина всплеснула руками.

– А то, что спросил тогда Бог сатану, заметил ли он на земле человека, Иовом зовут, непорочного вовсе, а главное, богобоязненного? И так отвечал сатана: «Разве даром так богобоязнен Иов?» Поняла?

– И что потом было?

– А стал сатана насылать на Иова беду за бедой. Все погибло. Стада его, дети его, рухнул дом. А он не отрекся от Господа Бога.

– Но ты здесь, Инесса, при чем?

– А при том. Когда погрузилась я в неизъяснимое, заснула по воле Господней, так мне же одно удовольствие было свои сновиденья глядеть, восхищаться! И в монастыре тоже весело было молиться да кротостью радовать Господа! А как час соблазна настал да как плоть во мне загорелась, так бросила я и молитвы свои, и всю благодать позабыла! Попала я, глупая, с жадным нутром, в конце концов, в город Венецию. Бывала ты там?

– Никогда не была.

– Вот так и держись! Обходи стороной! Я, если узнаю, что нету ее, водой затопило проклятые площади, дворцы ее мерзкие, мостики эти, я только тогда и вздохну с облегчением!

– Да чем же Венеция так виновата?

– А тем, что полна она блудом, как чаша на праздник полна виноградом. И как налетают на гроздья воробышки, один за другим, и клюют, и дерутся, так и человеки во блуде своем все ищут, где слаще, про Бога не помнят. Нет дома без блуда в проклятой Венеции, семьи ни одной нет без прелюбодеяния! А девушки ихние! Только стемнеет, вуаль на лицо, а сама – за ворота!

– Скажи мне, Инесса, откуда в тебе такие глубокие знания жизни? Про что ни спрошу – у тебя есть ответ...

– Так это теперь. Когда горб на мне вырос и щеки ввалились. А раньше, пока не сбежала, так разве такой я была, как теперь?

Монахиня вся передернулась, словно ей вспомнилось что-то ужасное, стыдное.

– Откудова ты убежала, Инесса? Из монастыря или уж из Венеции?

– Да я отовсюду сбежала, милочек, – вздохнула Инесса. – Пока не огрела судьба по башке. А то ведь все гладила да все ласкала. А тут, понимаешь, другой поворот! Ну, первый раз, значит, из монастыря. Одна на всем свете. Без крова, без денег. Вернуться к отцу не хотела. Куда? Они уж отвыкли, детей полон дом. Зашла по дороге в какой-то трактир. Хозяйка как глазом стрельнет на меня! «Откуда ты, дева?» Ну, я солгала. Сказала, что осиротела, скитаюсь. Она руки вытерла белым передником и спрашивает, не голодна ли я часом. «Конечно, – шепчу, – голодна». Смотрю, подает мне кусок пирога, потом соскоблила остатки рагу с какой-то тарелки. Я сразу все съела. «Пойдем, – говорит, – я помою тебя. Да платье тебе подарю, от дочки умершей осталось». Велела раздеться совсем догола и всю осмотрела. «Да ты, – говорит, – аппетитная курочка». И правда, несет мне хорошее платье. Зеленое с синим. «Надень, – говорит. – И волосы спрячь под косынку. К нам вечером гости заедут. Смотри, веди себя так, чтобы всем им понравиться». Приехало трое господ. Один – волосатый, как черт в преисподней, до глаз весь зарос, другой – жирный, розовый, как поросенок, а третий – весь сладкий, кудрявый, слюнявый. «Эге, – говорят, – ну, спасибо, Севилья. Не зря, – говорят, – позвала!» Стали есть. Ягненка зажарили им. Этот, третий, схватил меня и посадил на колени. «Давай, – говорит, – вместе кушать, красавица. Бери из тарелки моей, пей вино! Потом потанцуем с тобой», – говорит. Сижу ни жива ни мертва. Поели и кинули жребий. Я сразу-то не поняла, что за жребий. А это они на меня, Катерина. Кому со мной первому в спальню идти. И выпало, что волосатому. Дружки ему вслед говорят: «Ты там не возись слишком долго, приятель. Раз-два – и готово! А то время позднее, спать всем охота». Заржал волосатый, как конь на конюшне. Схватил меня за руку. «Не прикасайся, – кричу. – Я ведь дева, монахиня!» Какая я дева-то после всего? Втолкнул меня в спальню и стал раздевать. Раздел догола, бросил на пол: «Лежи!» Сам сел мне на грудь и сует прямо в губы свой корень заросший. «Давай!» – говорит. А дальше

не помню, что было. Очнулась: лежу на какой-то траве, вся холодная, покрыта росой. Видно, ангелы Божии всю ночь на меня лили горькие слезы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.